

Наши юбиляры

Геннадий ПРАШКЕВИЧ



МИР В ТВОЕЙ ГОРСТИ...

(стихи разных лет)

* * *

Но исходив тропу забытую,
изведав боль, изведав ласку,
мы возвращаемся в закрытую
для посторонних взглядов сказку,

где за плетеными портьерами
переплелись любовь и мука,
где недоверием проверены
сомненья кавалера Глюка,

где только самое случайное
является самим собой
в счастливых словосочетаниях,
оправданных самой судьбой.

* * *

Качаясь и шурша,
мохнатый и раскосый,
снег падал на поля,
деревни и покосы.
Крутящийся, живой,
он вздрагивал тревожно
над ледяной межой,
забитой в лес, как в ножны.
Он падал полный день,
мечтая отогреться –
нечаянная тень
отчаянного детства.
Он все запоросил,
но все казалось – мало!
Он звезды потушил
от Хону до Арала.

Потом он стал чужим
и очень-очень редким,
как едкие стихи,
как шашечные клетки.
Но под плащом дорог
земля заледенела
и снег уже не мог
царапать ее тело.
И не хватило сил
мир утопить в сугробах.
Светало. Ветер бил
снежинки на дорогах.

* * *

Прокричали журавли,
в облаках растаяли,
а в лесах пустых легли лужи
светлой стаею.

А потом пришла зима,
ясная невинница,
вьюга снегом занесла
города провинции.

Намела седых холмов и ушла, умелая,
от тревожащих костров
в снегопады белые.

Снег валил опять-опять белыми
бумажками,
нам пришлось тропинки мять
валенками тяжкими.

От сосны к другой сосне,
 через тени мутные,
 пробирались мы к весне,
 в земли многолюдные.

Ни совета. Ни вестей. Мерзли
 под деревьями.
 Но, наивные, зиме так и не поверили.

* * *

Как тебе аукнется,
 так ему откликнется.
 Как тебе покажется,
 так ему увидится.

Звезды.
 Ночь.
 Сумятица.
 Ветер. Поздний час.

Горы не сдвигаются,
 губы не стираются -
 недостаток нежности
 убивает нас.

* * *

Промолчит лес,
 промолчит снег,
 промолчит грусть.
 Не дойдет весть,
 пропадет след,
 будет лес пуст.
 Будут снег, наст,
 звездопад глаз,
 белый дым из труб.
 У тебя гостят,
 у тебя грустят
 и хотят губ.

По лесам снег,
 по глазам снег,
 снегопад рад.

Потеряв след,
 берега рек
 сберегут клад.

Тебе всё простят,
 тебя все простят,
 и - меня прости.

У тебя гостят,
 у тебя грустят,
 мир в твой горсти.

* * *

Холод трогает суставы
 и кружится голова,
 а на стеклах прорастает
 непонятная трава.

Но реальней всех растений
 и сумятицы в крови
 моментальные, как тени,
 руки тонкие твои.

Пусть в глухой неразберихе
 нужный жест не оценён,
 за окном бело и тихо,
 там пушной аукцион.

Там следят паркет истертый
 башмаки смещенных лиц,
 а в канавах тонут гордо
 отраженья нищих птиц.

Там стареют почтальоны,
 телеграммы разнося,
 восседает ночь на троне,
 фонарей лучи гася.

Там почти неуловима
 разница: минута... век...
 Но оттуда твое имя
 нашептал мне белый снег.

* * *

Я много лет скитался
 в краю сухих белил,
 обламывая пальцы,
 тропу свою торил,
 и там, где низкий берег,
 под шапкою лесов,
 стрелял пушистых белок,
 и грелся у костров.

Единственный хозяин,
 закон тайги я знал:
 ловушек зря не ставил
 и зверя уважал,
 но снег ложился густо,
 стелил тропу мою,
 и было пусто-пусто,
 и грустно, как в раю.

Лебеди*В. Астафьеву*

Я видел, как утром,
 над серым болотом,
 кочкарником,
 марью,
 оставив исслеженный
 красными лапами берег,
 сентябрьскую тишь распугав
 и привстав над водою,
 одна за другой поднимались
 красивые птицы.

Тяжёлые птицы,
 красивые птицы –
 обрывками пены,
 обломками льдов,
 голубым опереньем,
 счастливым и белым,
 они восходили над марью,
 над тёмным болотом,
 а мы оставались, лишённые
 крыльев и пеня.

Когда-нибудь в поле,
 а может, в машине,
 а может, на водах
 ударит по сердцу то ль страх,
 то ль провиденье смерти.
 Так что же мы вспомним?
 Любовь?
 Удивленье?
 Удачу?

Высокое небо? Иль птиц,
 рассекающих небо?

Ах, кто это знает? И кто это
 может увидеть?
 Пески осветились и канули
 в тёмную воду.

А лебеди машут,
 и машут,
 и машут крылами,
 и их отраженья, сияя, плывут
 над болотом.

Слово

И опять надо мною, исторгая тепло,
 удивленное Слово, как Солнце,
 возшло.

То же самое, коим мы веками живем,
 обещаем и поим, изумляем и жжем.

И которому слишком доверяться
 спешим,
 забывая про искры и клубящийся дым.

А оно – не подкова, не туман идиом.
 Не забудьте, что Слово дал Охотник
 с Копьем,

на века его сделал для Войны и Добра
 вместе с первою Евой
 из мужского ребра.

Возвращение

Наследник Гумилева и Ахматовой,
 в лесу, где тропы выбиты сохатыми,
 под крышей деревянного сарая
 лежал я, ничего не понимая.

Махорочные струи, извиваясь,
 в небритую щеку меня лизали,
 и плавали, густые и бесшумные,
 как плавают меж сосен тени лунные.

«Тяни, братишка!» – требовали
 плотники,
 друзья мои, герои и колодники,
 все видевшие, знавшие, умевшие
 и за год мне до смерти надоевшие.

Я пил малину с водкой, и, отчаясь,
 все это запивал грузинским чаем,
 и хлеб жевал с привычным
 отвращеньем, –
 о, только бы приблизить возвращенье!

Как долго от тебя ни слов, ни писем!
 Как подло мне сквозняк тебя
 расписывал!

Как нудно шелестели снегопады,
 свершая свои мутные обряды!

Я засыпал с дымящей сигаретой,
 и в сны мои врывался темный ветер,
 злорадствовал: теперь не отыгратья,
 не дотянуться, не коснуться пальцев,
 губами на ночь перечтя ресницы,
 когда тебе задумчиво не спится.

Но хуже, было хуже, когда жалость
 в ночные сны непрошено являлась,
 юродствовала, плакала, просила:
 «Осина умирает некрасиво,
 раскинув растопыренные лапы,
 дрожа и задыхаясь на лету;
 ты хочешь повторить ее паденье? –
 мне жаль тебя. Решайся. Из деревни
 к друзьям, к стихам, и к ждущей
 иль не ждущей,
 решайся, и тебя я уведу!»

... а за окном дробились и кололись
 розеточки мерцающих снежинок,
 и стыли на заборах злые пятна
 замерзшей человеческой мочи.

Над речкой, окруженной,
 будто глетчер,
 моренами берез и стылых кедров,
 бесшумными каскадами струился,
 синел и испарялся лунный свет.

В его глубоких ласковых разводах
 мелькали тени – призрачно,
 прозрачно –
 и так же непонятно исчезали,
 чтоб снова появиться над рекой.

Над лесом поднималась крыша школы,
 в которой ничему нас не научат,
 но в окнах школы билось злое пламя –
 впервые посмотреть на этот мир.

Под вечер дымкой покрывало снежной
 дома, дороги; уходя на берег,
 я видел камни, между ними билась
 и клокотала черная вода.

Криноидей сияющие сколы
 песчаник светло-серый испещряли,
 как буквы, те, что ты не нашптала, –
 они остались в камне навсегда.

Я вырвался.
 Но что теперь мне надо?
 Улыбку? Шепот? Ласковые руки?
 Иль вечное терзание работы?
 Иль просто...

Отцу

Я не выкажу горечь, в себе сберегу,
 засмеяться, увидев тебя, постараюсь.
 Твою лодку спасти я уже не могу,
 увлекая, несёт её тёмная старость.

Пузырится поверхность
 холодной воды.
 Вот всплывают видения первых
 морозов,
 вот видения боли и первой беды,
 вот туман, цвет которого
 странен и розов.

Всё уходит, захваченный –
 вёсел не взял! –
 ты, ещё не отчаясь, плывёшь
 по течению.
 Мир огромен и смутен,
 как дымный вокзал,
 переполненный гамом, движением,
 тенью.

Я ещё различаю твой голос. Он глух.
 Мы во многом уже непонятны
 друг другу.
 Ты не веришь словам, тем, что сказаны
 вслух,
 и мы оба, пока что, не верим в разлуку.

Дни идут. Я считаю их, как на бегу.
 И смеюсь, и, прощаясь,
 скрываю тревогу.
 Твою лодку спасти я уже не могу,
 но я выстрогал весла –
 продолжить дорогу.

* * *

Мой тополевый Томск –
 томительная пристань,
 текущая, как воск,
 бегущая, как выстрел.

На площадях твоих
 я плыл, как на триремe,
 среди дождей густых,
 остановивших время.

И за твою печаль,
 за тайные вечера,
 спасибо, мой причал,
 скрипучие качели.

остаются всегда тоской
и вечной заразой,
в бездне грохота и огня.

И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня.
Остается лишь память,
и позолота слазит
с женщин и с городов,
но, прежде всего,
с меня.

**Иркутск:
выставка японской живописи**

Темный ветер. Злая мгла.
Иероглифы на флаге,
отблеск лунного стекла.

Сто прекрасных видов Эдо
не заменят никогда сей игры теней
и света.

Бодхисатва Манжушри –
он глядит, Будда грядущий,
не извне, а изнутри.

Ощущение вины
перед медленным теченьем
потрясенной тишины.

Потерю? Сберегу?
Что там выше? Чайный домик?
На каком он берегу?

Кто там стынет на пороге?
Отчего тебя мне жаль,
куртизанка Ханаоги?

Бронза - век мой золотой...

И опять мороз по коже:
этот век, конечно, твой,
не забудь, и мой он тоже!

Художник

Художник, написавший дивный лик
своей жены, давно с женой развелся.
Он странствовал, искал, любил,
боролся.

Ему под сорок,
он уже старик.

Всего достигнув, он живет в глуши.
Забыты надоевшие тирады
о вечном нетерпении души.
Он просто добр, и этому все рады.

Он бродит по дорожкам.
Дрогнет лист –
он восхищен.
Он слушает, как птица
поет и плачет.
Хочется молиться
тому, что мир и трепетен, и чист.

И все-таки бывает, что рука
вдруг ноет, ноет, тянется то к листьям,
то к лужам (в них проходят облака),
то, обречено, к выброшенным кистям.
И сердце начинает замирать:
взять кисть, вернуть любовь
и наслаждение,
вернуть давно ушедшее виденье,
воскреснуть! –
и блаженно умирать.

Но он молчит.
Он все узнал давно.
Не пламя в нем, а только трепетанье.
И все-таки томит его желанье –
Вновь женщину вернуть на полотно.

Как жаль, он написал ее давно.

* * *

Не надо музыки. Не надо!
Пусть лучше дождик моросит.
Туман. Строения. Ограда.
В окошке свет. Ребёнок спит.

Он тихо спит. Он сонно дышит.
Блаженно и легко сопит.
Мне скажут: «Так давно не пишу!».
А я скажу: «Ребёнок спит».

Дети индиго

Над большой рекой по краю
снег ложится невесом.
Мне опять приснился сон:

я опять тебя теряю
по дороге в ад иль к раю.

Не грусти и не сердись:
всюду будущее скрыто.
Времена палеолита
вновь просеяны, как жизнь,
через каменное сито.

Ты бессмертна для меня,
будто тундровая травка.
Ты – моя Большая Правка,
ты – Дыхание Огня,
Сорок Пятая Поправка.

Сколько лет еще скользнуть
нам по зеркалу удачи?
Я не знаю. Небо плачет.
Начинает с неба лить.
Ничего не отменить.

Мы с тобой разделены
дымом, временем, пространством.
С неизменным постоянством
я твержу тебе – живи
в светлом Храме-на-Любви.

Мы же созданы – как меч
и сияющие ножны.
Мы с тобою непреложны,
нас уже не устеречь,
наши действия не ложны.

Ветер. Бьющийся платок.
Кто детей индиго судит?
Ты любима – как никто!
Ты любима – как никто!
А других уже не будет.

Размышляя о будущем стихотворении

Ещё там будет деревянный мостик...
Высокий узкий деревянный мостик...
Не эта ржавь. Не топкое болото.
Кому в болоте пропадать охота?
Там будет мостик. Небольшой,
но мостик.

Как радуга. И лишь под ним – болото.

Ещё там будет лёгкое паренье,
туманное, как слезы удивленья.

Не лихорадка мучившей болезни,
не отзвук долгой недопетой песни,
а нежное туманное паренье.

Ещё там будет...
Брось перечисленья! –
себе шепчу. Оставь перечисленья!
Кому нужны обглоданные кости?
Ведь если напишу стихотворенье,
в нём будет только нежное паренье,
а сквозь паренье, или даже пенье,
сквозь влажное сквозное удивленье –
все тот же узкий деревянный мостик...

Уроки ботаники

За тёмным окном – шевеленье травы,
сумятица, лепет,
ещё не случившейся первой любви
бессмысленный трепет.
Не надо к окну наклоняться, не на...
Но кто же удержит?
За тёмным окном шевелится трава,
и молния режет.

Уроки ботаники, запахи трав,
картина в музее.
Ты вечно в полёте, я вечно не прав,
как дождиком сеет.
Но это не важно: сегодня, вчера?
В Китае, в России?
Накатываются вечера,
каких не просили.

Уснёшь на траве, а проснёшься – уже
повсюду покосы.
Опёнок прилепится. Тонкая жердь.
То ль дождик. То ль росы.
Так странно, так сладостно, будто
умру,
упав среди степи,
не слыша осины на тихом юру
бессмысленный трепет.

Как сполохи что-то играет в душе,
как сполохи в небе.
Ты Анна на шее, ты Анна на ше...
Ты масло на хлебе.
Ты отзвук, которого нет. Не лови,
забудь этот лепет,
уже не случившейся первой любви
бессмысленный трепет.

Памяти поэта Макса Батурина

«Денежки кончились в наших
смешных кошелечках».
Палой листвой обнесло все
питейные точки.

Осень приблизилась, альфа нисходит
вомегу.
Если и быть, то всего лишь
печальному снегу.

Лагерный сад. Разрежённый туман.
Вод теченье.
Близость ворон. А воронки
как столоверченье.

Звук голосов. Отстают, отстают,
но смеются.
Явственно вижу, за нами следы
остаются.

Да, остаются. И вроде всего нам
хватает.
Этот ступает. И этот ступает.
И этот ступает.

Все где-то рядом. Никто не отстал.
Все ступают.
Прямо по листьям. И, странно,
следы оставляют.

«Денежки кончились в наших
смешных кошелечках».
Сказано все. Сведено к междометию,
к точке.

Времени – вечность. Энергии – бездна.
Пространства – хватает.
Вдруг оглянётся, а чьих-то следов
не хватает.

Памяти Ю. М. Магалифа

Юрий Михайлович мне говорит:
«Водки, пожалуйста, Гена, налейте».
Тянет желудок, сердце болит,
в окнах не море, не Родос, не Крит,
окна распахнуты в палеолит.
А Пан играет на флейте.

Серый забор и «скворешник» над ним.

«Водочки, Гена, не пожалейте».
Чад переклички, лагерный дым,
нимб над колочкой – сияющий нимб.
«В лагере легче трубить молодым».
А Пан играет на флейте.

Юрий Михайлович жмурится: «Съем
Эту сосиску, а вы мне подлейте».
Жизнь коротка, перегружен модем,
бездна крутящихся в памяти тем,
дымный безбожный далекий Эдем.
А Пан играет на флейте.

* * *

Все, что угодно, приснится, а ты
даже не снишься, тебе не пристало.

Горечью пахнут ночные цветы,
будто без этого горечи мало.

Долгая память. Глухое вино.
Что с нами было? И что с нами стало?

Горечью звёздное небо полно,
будто без этого горечи мало.

Снежное утро. Возвышенный лес.
Белые тени. Природа устала.

Снегом заносит эпоху чудес,
будто без этого горечи мало.

Масштаб

От древнего кургана
до гиблого болота;
от чайного стакана
до чаши с позолотой;
от томского забора
до стен горячей Кушки;

от Домского собора
до крошечной церквушки;

от розы искушения
до прозы из трактира;

от мироощущения
до ощущенья мира.

1960-2015

Владимир НИКИФОРОВ**ЯВЛЕНИЕ ПРАШКЕВИЧА**

По официальным данным Геннадий Мартович Прашкевич родился в селе Пировское Енисейского района. На самом деле Пировское с 1924 года является центром одноименного района. Сейчас на территории в 6,4 тыс. кв. км проживает 8 тысяч человек, из них в самом Пировском примерно 3 тысячи.

Пировский район традиционно считается татарским, хотя по официальным данным татар всего 30 процентов. Но ведь обычные представители титульной нации не знают статистики, они просто видят: «везде татары!» (как, например, в прекрасном городе Тобольске). По своему детству знаю, что в Сибири не было национальной розни, хотя и не упускали возможности посмеяться над евреями, мордвинами, чувашами; более сложные отношения были с немцами Поволжья: над неуклюжим и безобидным Карлом Райхелем откровенно издевались (прости нас, Карл!), учительницу Альму Яковлевну уважали и побаивались, а Ивана Ивановича Класа вся наша улица боготворила. Кого не любили, так это литовцев, жили они отдельно от всех, на своих хуторах – одинаковых домиках, поставленных вдоль берега реки, радовались, когда горела лесобиржа в Маклаково, и нещадно лупили кнутом нас, мальчишек, посмевших встать на запятки их саней.

У татар в моем родном Подтесово была своя улица, и мы до обеда сидели на одних партах с Нафиковыми и Хусаиновыми, а потом сражались в заснеженных огородах с «татарским игом», и это было одним из величайших событий нашего детства.

Геннадий Мартович прожил в Пировском всю войну. Как жили, чем жили, где работали? Моё Подтесово жило затоном для отстоя и ремонта судов Енисейского пароходства, а что в Пировском? Из промышленности – лесопилка да кирпичный заводик, а еще гараж, конный двор, ну и школа, столовая, магазины, клуб, а раз районное село, то – райком, исполком, потребсоюз, военкомат, милиция,

Не призванных на фронт мужчин гоняли на лесозаготовки. Жили натуральным хозяйством, держали коров, коз, свиней, гусей, кур, в огородах выращивали овощи, в тайге брали ягоды и грибы, мужики добывали дичь, рядом речка Белая (там маленький Гена однажды чуть не утонул): «по утрам выходил в лодке с отцом в протоку, поднимали сеть, заброшенную с вечера. Босиком все детство. Не голодали (свой огород), но всегда хотели есть». В редкий дом не пришла похоронная, но выжили, выросли, а детство – даже военное – все равно детство. Потом жил с семьей в Енисейске и Абаляково, на берегу великой реки: «Енисей это больше чем детство. Это весь мир».

В детстве у Гены были три мечты: заниматься наукой, написать несколько интересных книг, много путешествовать. «Причем последнее было совсем неосуществимо: в нашем селе дорога только одна – в столярный цех, где я какое-то время и проработал... Возможностей развлечься было немного: скажем, войти в компанию местных хулиганов или читать книги». Первой прочитанной книгой, как вспоминает писатель, была «Цыганочка» Сервантеса (не «Конек-горбунок», как у автора очерка!), это произошло в четыре года. Школьником Геннадий читал запоем научную литературу; например, в пятом классе проштудировал монографию Вильяма К. Грегори «Эволюция лица от рыбы до человека». И, конечно же, читалось то, что считалось тогда литературой: В.Ажаев, С.Бабаевский, М.Бубеннов, С.Сартаков (кстати, отец Геннадия, техник-строитель, и бухгалтер Сартаков работали в Енисейске в одной конторе – сплавной), К. Седых, кузбасские писатели А.Волошин и В.Попов; отец приносил из библиотеки журнал «Новый мир в толстой картонной обложке».

К этому времени семья переехала в город Тайга Кемеровской области, где будущий писатель закончил школу: «бревенчатый домик на углу улицы Типографной и Кирпичного переулка, грунтовые дороги, зимой – морозы за сорок, летом – жара». Там же, в Тайге, он работал кондуктором грузовых поездов, электросварщиком и плотником.

Возникновение Тайги напрямую свя-

зано с возникновением Новониколаевска (Новосибирска): не будь последнего, не было бы крупнейшей на Транссибе железнодорожной станции, а шла бы магистраль от Омска к Томску через нынешнюю Колывань, по «Чеховской» дороге. Движение поездов по ветке Томск-Таежный (так вначале называлась станция Тайга) – Томск протяженностью 80 километров было открыто в 1896 году, за десять лет возвели вокзал, депо, два храма, костёл и синагогу, три кладбища, почту, школу, население достигло 10000 человек и посёлок стал городом Томской губернии. В начале 50-х население города достигло максимума: свыше 30 тысяч жителей. Город звал, город притягивал возможностью получить специальность, работу, квартиру, образовать семью, дать образование детям.

В Гене Прашкевиче рано проснулся его эстетический талант: «Я рос в провинции и долгое время не мог понять, почему жирная топкая грязь на проселочной дороге после дождя при лунном свете поблескивает так волшебным, так необыкновенно, а такой же отблеск на случайном стеклянном сломе сладко и печально щемит сердце. Меня не трогали цветастые ленты на платьях каких-то местных фольклорных баб, но до дрожи восхищал огромный рыжий бык – живое воплощение тупой силы и поразительной животной гармонии. Кудрявый лоб, крутые рога. К быку тянуло подойти поближе, но я боялся. Безумно боялся. Возможно, именно эта боязнь и определила мое отношение к истинной не придуманной красоте. Я восхищался и был полон тревоги. Я любил озера, камыши, темный тальник, там чудились мне странные вещи, хотя на поверку часто не оказывалось ничего, кроме обыкновенных переплетенных стеблей, а иногда солнечной ряби, играющей на иллистом дне, – но эта рябь сама по себе была миром. Другим миром. Я мог часами всматриваться в темную воду, пока она совсем не тускнела. Приятели крутили пальцем у виска, когда я любовался окаменевшими ракушками, выбитыми из мощных известняковых обрывов почти незаметной местной речушки. Приятели считали мои находки никчемными, неинтересными, они не

слышали за ними плеска кембрийских морей, не видели блеска сырых песчаных девонских отмелей».

Он увлёкся палеонтологией, переписывался с известными учеными: Н. Н. Плавильщиковым, Д. И. Щербаковым и И. А. Ефремовым. Палеонтолог и писатель Иван Антонович Ефремов пригласил школьника в настоящую палеонтологическую экспедицию в западное Зауралье. Юному школьнику посчастливилось жить (вернее, ночевать) в музее палеонтологии, под чучелами мамонтов, и общаться с великим человеком, провожая его до дома. Геннадий Мартович вспоминает, что удивился его вопросам, они как-то не соответствовали масштабу его личности. «Помню, он спросил меня, например, чем там закончилась история в семье Карениных. А я ничтоже сумняшеся ответил: “Да все нормально, Анна Аркадьевна бросилась под паровоз, все занялись делами!” Иван Антонович даже остановился от удивления, а после, помолчав, попросил, чтобы я, вернувшись домой, внимательно перечитал роман. Видимо, для Ефремова это был очень важный тест. Видимо, он решил, что если я чего-то не пойму, то со мной дальше дело иметь не стоит». И мальчик Гена открыл для себя смысл последних глав «Анны Карениной», размышлений Левина и написал об этом Ивану Антоновичу, и их дружба длилась до самой смерти мастера в 1972 году.

И.А.Ефремов не был великим ученым, хотя и создал тафономию – науку о закономерностях процессов естественного захоронения организмов, за что получил Сталинскую премию в 1952 году, а уж тем более великим писателем, но его влияние на умы подростков, и не только их, было колоссальным: это был Майн-Рид, Джек Лондон и Герберт Уэллс в одном флаконе. Название его романа «Туманность Андромеды» (1957 год) звучало как пароль для пропуска в новый мир. И, конечно, это было чудом, что этот занятый самыми разнообразными делами человек ответил на письмо школьника из далекой Сибири, пригласил в Москву, а потом в экспедицию.

В школьные годы Геннадий был увлечен не только наукой, но также читал отечественную (А.Толстой, А.Беляев,

А.Казанцев) и зарубежную (Г.Уэллс, А.Азимов) фантастику, писал стихи и рассказы. Один из них («Остров туманов») отнес в редакцию газеты «Тайгинский рабочий» и он, к удивлению автора, был опубликован 21 сентября 1957 года. Автору было 16 лет. Сюжет рассказа: «три геолога возвращаются домой после путешествия за Полярный круг, где им удалось высадиться на некий остров, который всё время затянут туманом, причём особого свойства: из всех лучей он пропускает только ультрафиолетовые. А в ультрафиолетовом свете весь мир кажется другим, у него другой цвет: всё светится ярко и необычно – камни, листья растений, графит карандаша... Конечно, как произведение художественное – рассказ, скажем так, невелик, но это был первый мой опыт активного вторжения в жизнь, а это переценить никак нельзя».

После окончания средней школы Геннадий Прашкевич приехал в Новосибирск с письмом от академика Д.И.Щербакова к известному сибирскому геологу Г.Л.Поспелову (кстати, многолетнему члену редколлегии «Сибирских огней») и начал работать в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, который вместе с другими академическими учреждениями располагался в самом центре, на Советской, 20. В 1960-м институт переехал в Академгородок, который еще строился, здесь образовалась особенная культурная среда. Внешними знаками этой «особенности» были кафе-клуб «Интеграл», выступления знаменитых поэтов, бардовское движение, но все было гораздо глубже, вернее выше в буквальном смысле: самая интересная культурная жизнь шла на кухнях четырех- и девятиэтажек под знаменитый самогон, который иностранцы принимали за коньяк высшей марки.

В эти годы с ним приключились «неприятности», в которые оказалась вовлеченной даже Ахматова. В память об Анне Андреевне написал «роман о романе» «Египтянка и скорпион» – об отношениях Ахматовой и Модильяни.

В 1965 году вместе с женой – Лидией Григорьевной Киселевой, геофизиком по специальности, и дочерью Г. Прашкевич уехал в Южно-Сахалинск, где стал рабо-

тать в лаборатории вулканологии Сахалинского комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР. «Семь лет мы с женой и дочкой отдали Сахалину, это еще в бытность мою геологом. На острове жило много корейцев, и с одним из них, очень талантливым человеком, я был знаком. Ким Цын Сон редактировал газету на корейском языке и писал очень хорошие стихи. Однако после публикации, которую власти сочли антисоветской по духу, Ким Цын Сон был уволен с работы и закончил жизнь завхозом в районной столовой. Просто тихо, как свеча, сгорел... Мы с товарищем успели перевести его стихи (надо сказать, поэтом Ким Цын Сон был редкостным) и издали их в Южно-Сахалинске. Эта книга стихов уже второй раз переиздается в США».

Кроме переводов, Прашкевич занимался стихами и прозой. Первый сборник стихотворений «Звездопад», уже набранный в Южно-Сахалинском издательстве в 1968 году, так и не вышел в свет – по идеологическим причинам: не может герой одного из стихотворений, «советский» князь Святослав, воевать с братьями-болгарами.

В 1971 году Прашкевичи вернулись в Новосибирск, и Геннадий Мартович устроился на работу в Западно-Сибирское книжное издательство – «обслуживавшее» пять регионов! Издательство размешалось под крышей (в прямом смысле этого слова) Дома Ленина-ТЮЗа. Здесь мы с Геннадием Мартовичем и познакомились в 1979 году, когда он готовил сборник прозы молодых авторов «Дебют», куда в самый последний момент включил мои рассказы «Валерка, шкиперский сын».

За десять лет были изданы книги «XXII век. Сирены Летящей» (Новосибирск, 1975), Люди Огненного кольца» (Магадан, 1977), «Разворованное чудо» (Новосибирск, 1978), несколько повестей в журналах «Звезда» и «Уральский следопыт». В 1982 году Прашкевич стал членом Союза писателей СССР, что давало ему многое, почти все, в том числе вход в ресторан ЦДЛ не с кем-то из членов СП. Геннадию уже перевалило на пятый десяток, зато рекомендовали его в союз сам Валентин Катаев, сам

Юлиан Семенов и примкнувший к ним Владимир Сапожников.

Что собой представляла Новосибирская писательская организация? В Сибири она была самая «старая» (организована в 1928 году Лидией Сейфулиной, по другим данным – в 1926 году), самая многочисленная и очень средняя. Ярких имен было немного. Поэты-фронтовики А.Смердов, Л. Решетников, И.Краснов, достопочтенная Е. Стюарт – кто знал их в Калуге и Брянске? Все еще коптел Коптелов, но из прозаиков всесоюзную известность получили лишь Илья Лавров: его романтический роман про девчонок, стремящихся стать капитанами дальнего плавания, напечатали в «Роман-газете» и даже экранизировали (кажется, неудачно), да Витя Лихоносов, переехавший на Кубань. На подступах к славе были Анатолий Иванов («Тени исчезают в полдень», «Повитель», «Вечный зов»), Владимир Сапожников («Наш современник» напечатал его изумительно невразумительный роман «Счастливчик Лазарев»). Но даже этим счастливчикам чего-то не хватало. Илье Лаврову мешала его прежняя профессия актера, после Валентина Распутина («Вверх и вниз по течению») его рассказ «Печаль последней навигации» кажется не пережитым, а наигранным. Оглушительный (теперь уже «вечный») успех романов Иванова, ставших сериалами) объясняется очень просто: это явление массовой культуры, наконец-то восторжествовавшей на земле Пушкина, Чехова, Булгакова.

И были Дедов, Жигалкин, Коньяков, Черноусов, Городецкий – со своими редкими удачами и прозрениями, так и оставшиеся средними, провинциальными, сибирскими. Все могло быть иначе, появись повести Коньякова о художнике, а Дедова о военном детстве – в «Юности», или же напечатай «Новый мир» вместо «сериала» безусловно талантливого и любимого мной Виля Липатова производственные повести бывшего взрывника Жигалкина, бывшего технолога Черноусова, бывшего геолога Городецкого... Зато в Н-ске развивались сатира и юмор (Самохин, Треер, Чарушников, Шалин), очерк (Кожевников, Золотов, Зеленский), критика (Яновский, Горшенин, Коржев, Постнов, Шапошни-

ков) и – фантастика. Если родоначальником жанра юмористико-сатирического был Самохин, критического – Яновский, то фантастика началась с Михеева – в буквальном смысле. Потому что он был автором народной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Не помню, читал ли я «Вирус В-13», наевшись в детстве красноярского фантаста Ник. Шагурина, но имя это звучало, кроме того, его сын работал в нашем вузе, а мои знакомые снимали комнату в доме Михеева на улице Горького.

Каюсь, никогда не считал фантастику настоящей литературой, и даже Стругацких, объявленных гениями, не могу читать: их «великая» проза напоминает пробу пера. Единственное, что можно читать у братьев, – «Понедельник начинается в субботу», но там из всех углов торчат Гоголь и Булгаков... Трудно сказать, что занесло Прашкевича – с его вкусом, кругозором, в фантастику, где после Беляева («Человек-амфибия») и А.Толстого («Аэлита», «Гиперболоид...») царили Казанцев и Ефремов. Про Казанцева теперь никто и не вспомнит, а Ефремова в то время величали великим писателем-фантастом и мыслителем. Ефремов был умный, образованный, думающий человек, но достаточно сравнить его писания с «Дневниками Иона Тихого» С. Лема...

В 1983 году Прашкевич ушел из издательства на вольные хлеба, и во многом это было связано с цензурным запретом его книги «Великий Краббен». В это время менялось многое, кончилась льготная для писателей эпоха лауреата Ленинской премии по литературе Брежнева, началось непредсказуемое время похорон вождей и перестройки. Западно-Сибирское книжное издательство, работающее на пять регионов (Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край), прославившееся своими сериями «Молодая проза Сибири», стало областным и еще более нетерпимым к чему бы то ни было не укладывающемуся в рамки заданного формата. Помню, как Геннадий после заседания редсовета хватался за голову: «Скалы рушатся!» Речь шла о моей первой книге «Дом на большой реке», которую он редактировал и которую не смог

отстоять, ее снова не включили в план, но теперь я понимаю, что переживания Прашкевича были связаны и с судьбой его книг, которую определяли люди, ненавидящие творчество по определению: вчерашние «училки», выбившиеся на места главных редакторов издательства и управления по печати из завучей районной школы или завотделом районной культуры. Помню, как искренне негодовала главред издательства против моей книги для детей про экономику (которая все же вышла стотысячным тиражом с прекрасными иллюстрациями А. Шурица): «Дети прочитают книгу и поймут, что им выгоднее не содержать своих родителей, а убить!»

Запрет на Краббена не поддается рациональному объяснению. Я на месте цензора скорее бы запретил Леонида Треера, чего стоит его «Происшествие в Утиноозерске»: Щедрин (Салтыков который) отдыхает!

Через запреты и уничтожение тиража прошли многие советские писатели, и не только диссиденты и «прожападники». Этого ждали, к этому привыкали, с этим жили. Аркадий Стругацкий, которому Прашкевич пожаловался в припадке депрессии, посоветовал ни в коем случае не ввязываться в бесполезную борьбу за уничтоженную книгу, а писать новую! «А пока ты пишешь, сказал он мне, – вспоминает Прашкевич, – один чиновник сопьется, другого выгонят, третий проворуется – а там, глядишь, и сам режим рухнет! Так и произошло».

Красноярский коллега Прашкевича и его практически ровесник Эдуард Русаков вспоминал 80-е, когда он оставил работу в психушке и стал просто писателем, как свои лучшие годы. За один печатный лист член СП получал до 400 рублей (нынче это не меньше 5 тысяч). Чтобы жить на уровне квалифицированного специалиста с окладом 200 рублей, надо было напечатать за год в журналах и издательствах не меньше 8 листов, то есть три-четыре рассказа или маленькую повесть. А если еще два-три раза в месяц выступать перед читателями по линии Бюро пропаганды (была такая «коммерческая структура» при каждом региональном правлении СП), то – мама не горюй! Плюс бесплатные поездки в

Дома творчества (Перedelкино, на Черном и Балтийском морях). Как раз в те годы я у себя в вузе руководил клубом «Творчество» и подписал договор с местным Бюро пропаганды, и помню, как вдохновенно выступал Прашкевич в Доме студентов на Красном проспекте, как интересно говорил о местах, где бывал и не бывал: Камчатка, Южная Америка. Африка...

Со всей страной Прашкевич пережил перестройку, ГКЧП, развал Союзов (СССР и СП). За десять лет, прошедших после выхода в 1983 году моей первой книги и его ухода из издательства, мы встречались всего один раз – на конференции «Социология и литература», которую я проводил в 1986 году в Доме ученых и на которую пригласил Г. П. В 1993-м мне выпала полугодовая зарубежная стажировка по логистике, и в поезде «Сибиряк», который увозил меня в Москву для следования затем в Германию, Голландию и Ирландию, мы встретились с Геней (он ехал в Свердловск для вручения ему премии журнала «Уральский следопыт»), и он подарил мне свою книжку с замечательной фотографией на обложке и замечательными стихами, которые я читал и перечитывал на чужбине. А один стих, дополнительным достоинством которого была его краткость, даже перевел и прочитал на вечере поэзии, организованном ирландским поэтом Тео Дорганом:

Все лучшее:

Стихи,

Плоды,

Зерно,

Сладчайшую усталость, для которой

Не надо отдыха,

Приносит осенью

И, холодно подчеркивая это,

Отбеливает землю

Белый снег.

All the best thing:

Poems,

Fruits,

Grain,

Sweet weariness, which

Needs no resting place,

Autumn brings –

And coldly underlining this,

With white snow

Makes white the ground.

Вернувшись из Европы, я получил от Геннадия Мартовича предложение напечататься в его журнале «Проза Сибири», но пока размышлял, что бы я мог предложить в этот журнал (с литературой я «завязал» в 1986, сосредоточившись на науке), тот прекратил свое существование. Может быть, потому что в Сибири очень мало настоящей прозы. А тем более сейчас, когда ушли из жизни Плетнев (Омск), Гущин (Барнаул), Самохин (Новосибирск). И как бы мы ни обижались на свои «родные» «Огни», фактически переставшие быть сибирскими, я бы на месте их главного редактора не напечатал ни одного из обидчиков: их время ушло. Как и моё. И то, что «Сибирские огни» вернули меня в 2000-м в литературу и печатали ежегодно до 2013 года, это подарок и дорогого стоит. Прашкевич как-то высказался по этому поводу так: «Никифоров – он хитрый: он и в Огнях печатается, и с нами дружит!»

У самого Прашкевича с журналами отношения крайне напряженные: «Огни» его не печатали, на страницах «Нового мира» он появился только в 2010-м, по поводу юбилея журнала, в «Знамени» – в 2007-м. Зато ему везло с издательствами, в иной год он выпускал до десяти (!) книг. И как-то он приехал из своего Академгородка в Союз (уже на Орджоникидзе), чтобы рассказать и показать коллегам, как надо работать, чтобы не ныть и не вспоминать безбедные 80-е. Обернулось это скандалом: мы не привыкли, не умеем радоваться чужому успеху и учиться у тех, кто его достиг. А один из коллег сказал мне на ухо, что он никогда не считал Гену «настоящим писателем».

И в принципе я с ним согласился: Гена не укладывался в рамки понятия «настоящий писатель», который сегодня должен быть беден, а лучше нищ и обозлен на всех. На гонорары прожить нельзя, во всяком случае, в Новосибирске: издательства гонораров не платят, за издание приходится еще и платить, а в единственном гонорарном журнале «Сибирские огни» платят мало и не всегда. Чтобы ежемесячно иметь хотя бы среднюю по региону зарплату, в год надо разместить здесь 400 (!) листов,

что совершенно невозможно.

А Прашкевич даже тематически «вписался в рынок». В 90-е он написал цикл «бизнес-романов» в соавторстве с томским бизнесменом Александром Богданом, который прекрасно знал «деловой» мир 90-х и был интересным и умелым рассказчиком. Из этих бесед родились романы-детективы «Противогазы для Саддама», «Человек Чубайса», «Русская мечта», «Поражение». Лучшим романом в серии Прашкевич считает «Пятый сон Веры Павловны», написанной на основе реальной истории: «Некий человек, получивший деньги и возможности, выкупил всё в тех же 90-х исправительную колонию в Кузбассе, в глухом уголке, причём вместе с заключёнными. Они сидели там и работали, а он был хозяином этих «крепостных» душ!»

В начале 2000-х Прашкевич издал цикл исторических романов «Секретный дьяк», «Носорукий», что никого не удивило: Прашкевич все может! Но оказалось, что работа над ними заняла несколько десятилетий, роман «Секретный дьяк» – о том, как русские люди шли через всю Сибирь к Тихому океану – был начат в начале 70-х. Материалом для романов служили не только архивные документы, но и сказки: юагирские, долганские, ламутские, корякские, чукотские, камчадалские, собранные в свое время В. И. Йохельсоном и В. Г. Тан-Богоразом. Прашкевич опубликовал их под названием «Сендушные (от слова сендуха – тундра) сказки».

В середине 2000-х Геннадий стал соучредителем и редактором издательства «Свинья и сыновья». Я побывал на нескольких презентациях и купил его исторические книги, читая которые, упивался языком, а все остальное: сюжет, исторические подробности меня не привлекли, как в свое время исторические романы Алексея Толстого: я только помню вкусный язык, яркие картины голых девок и т. д. Понимаю, что я не прав, но почему я должен принуждать себя? Тем более, что исторические романы Прашкевича читают, они получили замечательные отзывы, стали частью нашей истории и культуры, и для самого автора они часть его жизни, часть его самого.

В свое время я не смог осилить

«Пушкинский дом» и комплексовал по этому поводу, пока не услышал, что с известным критиком Ст. Рассадиным произошла та же беда. Уже в новой истории с души воротило с первых страниц Улицкой. Пожаловался на это Прашкевичу, на что он вполне резонно заметил: «Это не вина писателя Улицкой, а беда читателя Никифорова!»

В конце 10-х новый поворот в жизни и творчестве Прашкевича. Он уходит из издательства «Свинья и сыновья», чтобы всецело погрузиться в мир ЖЗЛ. И вот они, плоды многолетнего погружения: книги о Герберте Уэллсе, Жюле Верне, братьях Стругацких, Станиславе Леме, Толкине, Рее Бредбэри. Я побывал почти на всех презентациях этих книг, после которых можно не открывать очерданной том из великой серии, придуманной Горьким: так емко, образно, точно рассказал Прашкевич о своем очередном герое. Тем более, что Геннадий обращал наше внимание на те стороны, которые раньше не освящались. В книге о Жюле Верне это страницы о его любовной связи с Мари Дюшень. «Они встречаются тайком от своих законных супругов. Мари родила Жюлю Верну дочь. Но ситуация в семье скоро стала такой невыносимой, что возлюбленная Верна покончила с собой, бросившись в Сену. 20 лет спустя дочь написала своему биологическому отцу письмо, в котором (по действовавшему в то время закону) просила разрешения на брак. Но конверт вскрыл сын Жюля Верна, совершенно несносный Мишель – и закричал на весь дома: «Мамочка, а у меня, оказывается, есть сестренка!»

Ну, а про Толкина мы вообще ничего не знали. Оказывается, за 80 лет своей жизни он перевел немало древних рукописей, создал несколько новых языков, издал две знаменитые книги, имевшие немалое значение для мировой литературы — «Хоббит» и «Властелин колец», но книга, которую Толкин считал главной и над которой работал почти 60 лет, — «Сильмариллион» — осталась незаконченной и вышла уже посмертно. Работу над нею завершил младший сын писателя Кристофер, издав, наконец, «Сильмариллион» в 1977 году.

Конечно, для Прашкевича эта серия

биографий стала этапной, он погружался каждый раз в новый мир, и для писателя, живущего в Новосибирске, стать автором книг о великих фантастах – это небывалый успех, удача! Вместе с тем не надо забывать, что 99 % биографий – это компиляции и кто знает их авторов? Большие писатели редко писали для этой серии, книги Тынянова, Шкловского, Чуковского, Форш и т. д. – писались не по заказу. Тем более сейчас, когда заказы выдаются своим, родным и близким, кого надо поддержать материально. Иной раз эти имена тоже звучат, но фальшивым и пустым звоном: Быков, например. Прашкевич сделал то, что может быть главным результатом его участия в ЖЗЛ: он своим именем и качеством работ поднял жанр до высот настоящей литературы.

Был почти на всех презентациях книг Прашкевича в ЖЗЛ. Наверное, это тоже один из видов творчества. После блестящей речи Прашкевича о Бредбэри я вернулся на дачку и, разбирая книги, свезенные из города, натолкнулся на «451 по Фаренгейту». Не буду писать о том, как я теперь воспринял потрясший когда-то, но теперь забытый сюжет, а Геннадию Мартовичу я сказал – при новой встрече на презентации – что: не надо ничего перечитывать; я страшно удивился, прочитав, что это фантастический роман: это наша реальность; Прашкевич – сегодня один из тех, с кем встретился герой книги Гай Монтэг, – с хранителями текстов, фактически – культуры.

В 2014 году в серии «Классическая библиотека приключений и научной фантастики» вышли «Записки промышленного шпиона». В летнее время на даче я перечитываю только детективы Сименона и Чейза, но прочитав «Записки...» я был потрясен: какой Чейз? Прашкевич лучше! На мое восторженное послание «Читаю «Записки...». «Счастье по Колонду» – просто фантастика (имеется в виду впечатление). Хотелось бы узнать, как этот рассказ возник, на какой волне?» Прашкевич ответил коротко: «На волне советских газет, которые к середине 80-х превратились в нечто совершенно бесформенное»). Иначе сказать было невозможно».

И все же наибольшим достижением Геннадия Прашкевича как писателя я считаю три повести, напечатанные в журнале «Знамя»: «Упячка-25» (2012, № 3), «Иванов-48» (2014, № 6), «ЗК-5» (2015, №6).

«Упячка-25» – это ироническая повесть о том, как «делается» репутация великого художника. Как говорит сам автор, он пытался показать то, что любит, за что боится и что не хочет потерять. Но предоставим слово рецензенту: «Талантливый художник Пантелей Кривосудов-Трегубов страдает легкой формой аутизма, его можно назвать человеком на грани гениальности и помешательства. Тут Геннадий Мартович жизненен и точен: веришь автору, что такой человек действительно может жить и существовать в своей отдельной вселенной. И начинается фантазмагория: Первый секретарь, только что гонявший «пидарасов-абстракционистов», влюбляется в выставленную художником на вернисаже коровью лепешку на листе картона размером тридцать-на-тридцать, а Генеральный секретарь листает книгу «Малая земля» с собственным двуглавым изображением...»

Главный герой повести «Иванов-48» начинающий писатель Иванов, автор книжки о знаменитом машинисте Николае Лунине и мечтающий о Сталинской премии, неожиданно в сорок восьмом году получает от органов важное задание: определить авторство повести контрреволюционного содержания. Прашкевич точен исторически и географически, почти документально: Н. А. Лунин (1915–1968) работал во время войны в Новосибирском депо, стал Героем соцтруда и лауреатом Сталинской премии; Иванов проживал в бараке № 7 по улице Октябрьской, к тому же он – не вымышленное лицо, а дядя автора. И тем неожиданнее развязка: автором «вредной» повести оказывается сам Иванов, который посылал ее частями товарищу Сталину в надежде, что вождь оценит ее по достоинству, ведь там шла речь о светлом будущем, которое наступит, когда все нынешние языки переименуют в один – сталинский, а неприглядные фамилии и названия – в радостные и светлые...

В отличие от двух предыдущих, в повести «ЗК-5» нет интриги, практически нет сюжета, зато само название несет в себе почти не искаженное представление о нашей новейшей истории: в соответствии с ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению особых мер в создании и распространении объектов и мероприятий культуры и о внесении соответствующих изменений в некоторые законодательные акты» в России было выделено семь специальных Зон культуры (ЗК), в том числе, на территории Алтая. Задачи ЗК: «осуществление деятельности по организации особых мер в создании и распространении мероприятий культуры, организации издательских дел, распространения, подписки, театральной деятельности и других видов указанной продукции; выявление, запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих указанную деятельность без получения специальных лицензий». В повести чувствуется оточенное перо биографа, но ведь Прашкевич еще и фантаст, вот почему Лев Толстой погиб в 1861 году на дуэли с Иваном Тургеневым.

Спасут ли гибнущую культуру ЗК и «Закон о защите прошлого», который разработал герой повести чиновник от культуры Салтыков? Ответ как будто очевиден: нет, но...

Многие сегодня пытаются определить место Прашкевича в литературе и культуре в целом, возводя его в число лучших фантастов, критиков, биографов. Для меня же Прашкевич – это ЯВЛЕНИЕ, корни которого, как выразился один из учеников Геннадия Мартовича, «не только в уровне его профессионализма как писателя, но, более всего, в самой его личности, которая за многие годы впитала и аккумулировала бесценный опыт тонкого наблюдателя окружающей нас жизни, умеющего подмечать в качестве важных, ключевых моментов многое из того, что не сразу и не многим бросается в глаза, а затем, отсеив массу мелких и случайных деталей, выстроить нить повествования в очень яркий и убедительный, неповторимый по волшебству красок сюжет».

Январь 2016 г.